



ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

2015

*«...И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.»*

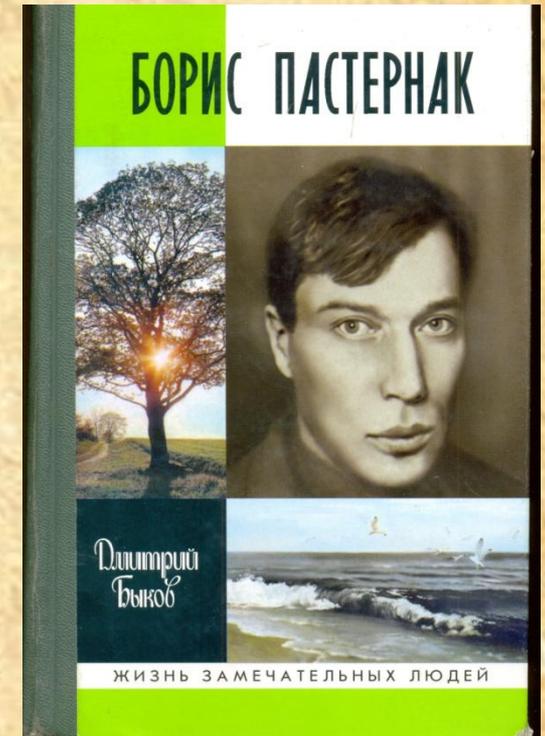
125 лет со дня рождения

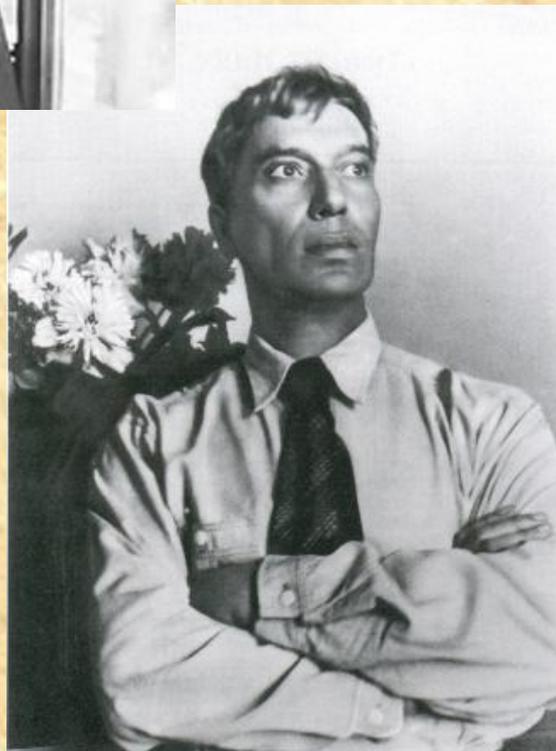


Дмитрий Быков

Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем.

Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немислимо бытование всякого талантливого человека. В книге дается новая трактовка легендарного романа «Доктор Живаго», сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.





Удостоенное премий
"Национальный бестселлер"
(2006) и "Большая книга"
(2006) повествование о
"творчестве и чудотворстве"
Бориса Пастернака
сочувственно и в то же время
беспристрастно отвечает на
вопрос, как одному из
крупнейших русских лириков
XX века удалось в трагические
для России десятилетия
достойно сохранить
неотделимый от его
поэтического гения дар - быть
счастливым и щедро делиться с
читателями своим счастьем,
счастьем утешения и
преображения.

«Имя Пастернака — мгновенный укол счастья. В этом признавались люди разных биографий и убеждений, розоволицые комсомольцы и заслуженные диссиденты, неисправимые оптимисты и гордые приверженцы трагического мировоззрения.»

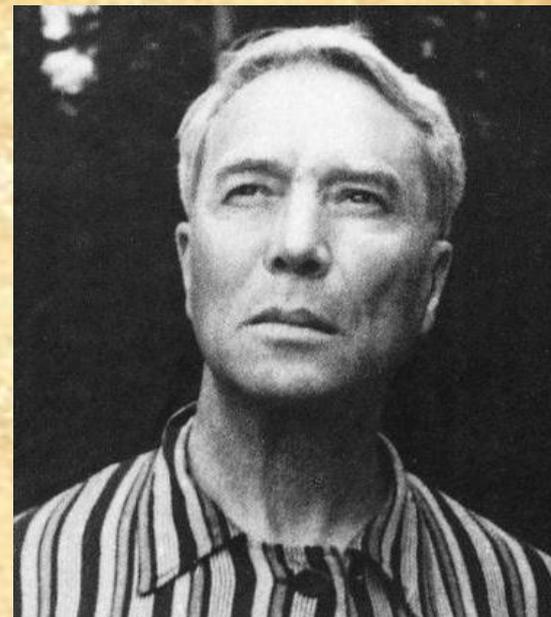
Судьба Пастернака, особенно на фоне русской поэзии XX века, кажется триумфальной — и, уж конечно, не потому, что он умер в своей постели, а в 1989 году был восстановлен в Союзе советских писателей столь же единогласно, как за 31 год до того из него исключен. Дело не в торжестве справедливости. Русской литературе не привыкать к посмертным реабилитациям. Таким же чудом гармонии, как и сочинения Пастернака, была его биография, личным неучастием в которой он так гордился.

Покорность участи, сознание более высокого авторства, чем его собственное, — основа пастернаковского мировоззрения:

«Ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, в футляр».

«Жизнь была хорошая» — его слова, сказанные во время одной из многочисленных предсмертных болезней, когда он лежал в Переделкине и неоткуда было ждать помощи: «скорая» не выезжала за пределы Москвы, а в правительственные и писательские больницы его больше не брали.

*«Мне радостно в свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий — подарком
Бесценным твоим сознавать!»*

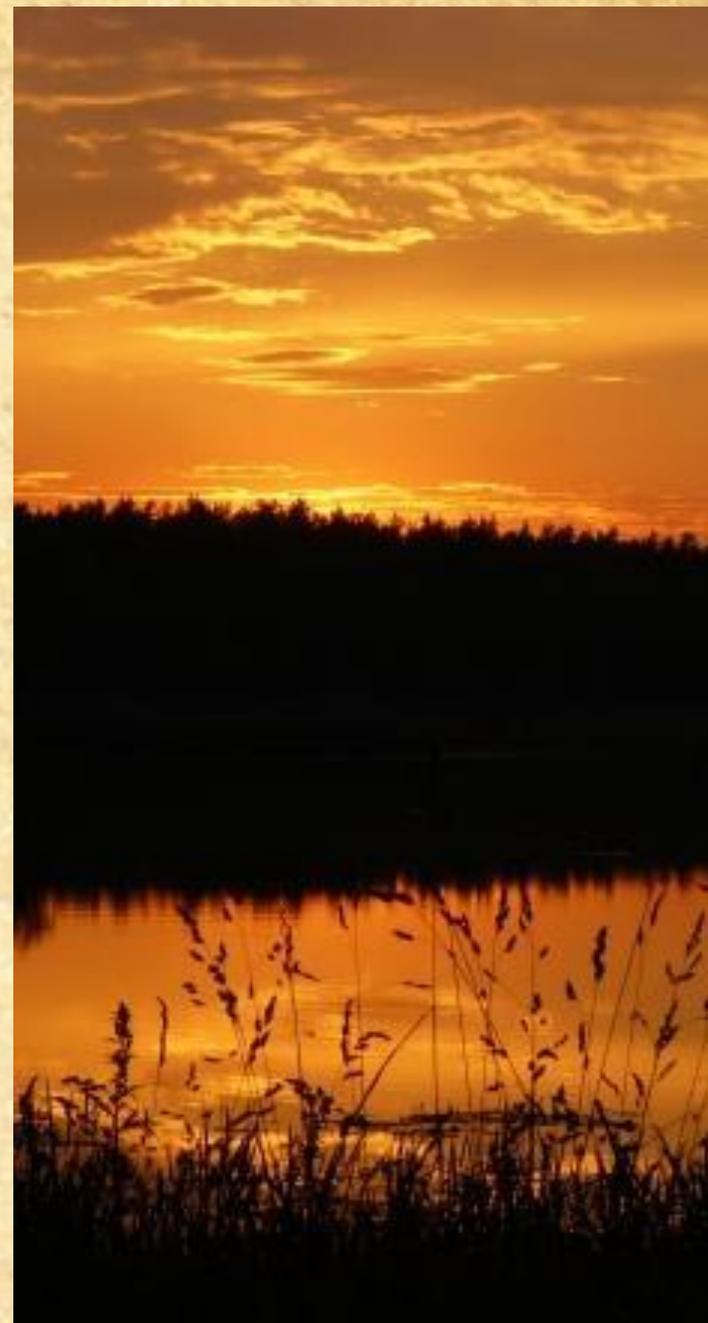


«Я все сделал, что хотел». «Если умирают так, то это совсем не страшно», — говорил он за три дня до смерти, после того, как очередное переливание крови ненадолго придало ему сил. И даже после трагических признаний последних дней — о том, что его победила всемирная пошлость, — за несколько секунд до смерти он сказал жене: «Рад». С этим словам и ушел, в полном сознании.

«Прощай, лазурь Преображенская
И золото второго Спаса,
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.»



«Август» — стихи о том, как смерть наконец стирает грани между временем и вечностью, между человеческим и божественным: свершаются два преобразования. О первом нам знать ничего не дано — что происходит после смерти, о том никто еще не рассказал. Но второе очевидно всем: поэт, только что живший среди современников, травимый, хвалимый, любимый и ненавидимый,— ушел от повседневности, путь его завершен, и то, что вчера еще было рядом, отдалилось навеки. Величие его теперь несомненно, высшая логика пути ясна,— и случается такое преобразование не только с художниками, а со всеми, кто не мешал Создателю лепить их судьбы, с любым, кто следовал предназначению и был равен себе.

«Август» — великое утешение, преобразование скорби в торжество, разрешение долгих мук, растворяющихся в сиянии Преображенской лазури.

«Какие прекрасные похороны!» — сказала Ахматова, выслушав рассказ о проводах Пастернака в последний путь. Сама она не могла проститься с ним — лежала в больнице после инфаркта. В этой фразе, записанной Лидией Гинзбург, мемуаристка справедливо увидела «зависть к последней удаче удачника». Ахматова, человек глубоко религиозный, не могла не оценить гармонии замысла.

Пастернака хоронили сияющим днем раннего лета, в пору цветения яблонь, сирени, его любимых полевых цветов; восемь пастернаковских «мальчиков» — друзей и собеседников его последних лет — несли гроб, и он плыл над толпой, в которой случайных людей не было. Проститься с Пастернаком шли с самыми чистыми побуждениями, не ради фронды, а ради него.



«Люди чувствовали, что участвуют в последнем акте мистерии, в которую превратилась жизнь поэта.

2 июня 1960 года в Переделкине можно было прикоснуться к чему-то бесконечно большему, чем биография даже самого одаренного литератора. Ничего не скажешь — последняя удача удачника.»

«Эта удачливость сопровождала его всю жизнь — впрочем, почти любую жизнь, если речь не идет о безнадежно больном или с рождения заклепанном во узы, можно пересказать под этим углом зрения; вопрос — на что обращать внимание.»

Пастернак весь был нацелен на счастье, на праздник, расцветал в атмосфере общей любви, а несчастье умел переносить стоически. Оттого и трагические неурядицы своей личной биографии — будь то семнадцатый год, тридцатый или сорок седьмой, — он воспринимал как неизбежные «случайные черты».

«Пастернак — самая компромиссная фигура в русской литературе.

Продолжатель классической традиции — и модернист; знаменитый советский — и притом вызывающе несоветский поэт; интеллигент, разночинец, одинаково близкий эстету из бывших дворян и учителю из крестьян; элитарный — и демократичный, не признанный официозом — но и не запрещенный (это создавало до 1958 года «двусмысленность положенья», которой сам Пастернак тяготился, но она и определяла уникальность его статуса). Еврей — и наследник русской культуры, христианский писатель, разговоров о своем еврействе не любивший и не поддерживавший. Философ, музыкант, книжник — и укорененный в быту человек, копавший огород и топивший печь с истинно крестьянской сноровкой.»

«Я за работой земляной
С себя рубашку скину,
И в спину мне ударит зной
И обожжет, как глину.

Я стану, где сильней припек,
И там, глаза зажмуря,
Покроюсь с головы до ног
Горшечною глазурью.»

«Для миллионов советских читателей Пастернак — дачный поэт: на дачах по-пастернаковски топили печи, жгли сухие сучья, вспоминая «языческие алтари на пире плодородья», ходили по грибы, заводили романы, а по ночам, под шум дождя, шептали на ухо возлюбленным: «На даче спят. В саду, до пят подветренном, кипят лохмотья»...

Пастернак отказывался ездить по всесоюзным стройкам, исправительным лагерям и колхозам, не без вызова замечая, что знание так называемой жизни писателю не нужно: все, что ему надо, он видит из окна.

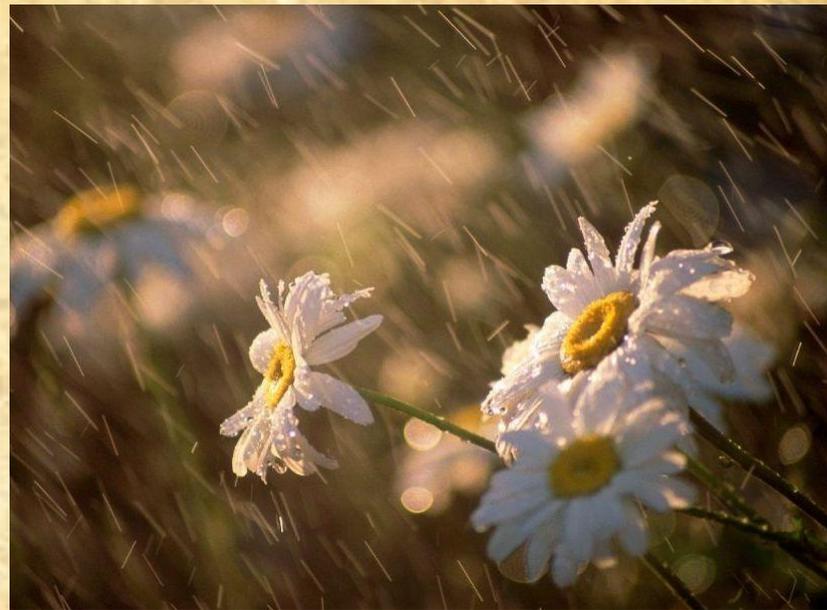
Само Переделкино, где он прожил двадцать пять лет, было таким же гармоничным компромиссом между городом и природой: от Москвы меньше двадцати километров, а красота сказочная, и тихо.»



«Октябрь серебристо-ореховый.
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.»



«Стихия Пастернака — летний дождь с его ликующей щедростью, обжигающее солнце, цветение и созревание; на лето приходились и все главные события в его жизни — встречи с возлюбленными, возникновение лучших замыслов, духовные переломы.»



«Это давнее его убеждение — чтобы писать стихи, надо быть не вдохновенным безумцем-медиумом, а здоровым, нравственно крепким человеком, который не позволяет стихии овладеть собой — а, напротив, сам владеет ею: позиция ярко антиромантическая и для XX века очень редкая.

Слово у Пастернака — не столько смысловая единица, сколько строительный материал: он не рассказывает мир, а созидает его.»

«Мир — это музыка, к которой надо найти слова!»

«Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И, как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.»





«Как на выставке картин:
Залы, залы, залы, залы
Вязов, ясеней, осин
В позолоте небывалой.

Липы обруч золотой —
Как венец на новобрачной.
Лик березы — под фатой
Подвенечной и прозрачной.

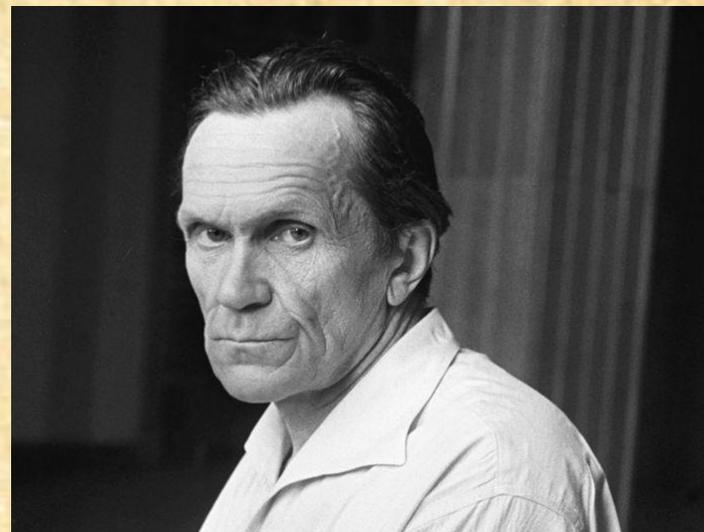
Погребенная земля
Под листвой в канавах, ямах.
В желтых кленах флигеля,
Словно в золоченых рамах.

Где деревья в сентябре
На заре стоят попарно,
И закат на их коре
Оставляет след янтарный.»



«Каторжники двадцатого века любили Пастернака потому, что он прожил жизнь с ощущением выстраданного чуда. Это счастье не самовлюбленного триумфатора, а внезапно помилованного осужденного.

Шаламов был одним из немногих, кто удостоился серьезной пастернаковской критики — очень комплиментарной и вдумчивой: дело было не только в уважении к его страшной, трагической судьбе, редкой даже на фоне кровавой русской истории XX века. Дело было в преклонении перед его мужеством: он не жаловался. Он писал стихи. Пастернак и говорил с ним — как с поэтом.»



«Стихи Пушкина и Маяковского не могли быть той соломинкой, за которую хватается человек, чтобы удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не жизнь-существование». Варлам Шаламов

«А стихи Пастернака оставались той самой «последней соломинкой» потому, что в каждой строке сияет фантастическая, забытая полнота переживания жизни: эти тексты не описывают природу — они становятся ее продолжением. Вот почему смешно требовать от них логической связности: они налетают порывами, как дождь, шумят, как ветки. Слово перестало быть средством для описания мира и стало инструментом его воссоздания.»





«Человек живет не в природе, а в истории». Его понимание природности напоминает философию Заболоцкого:



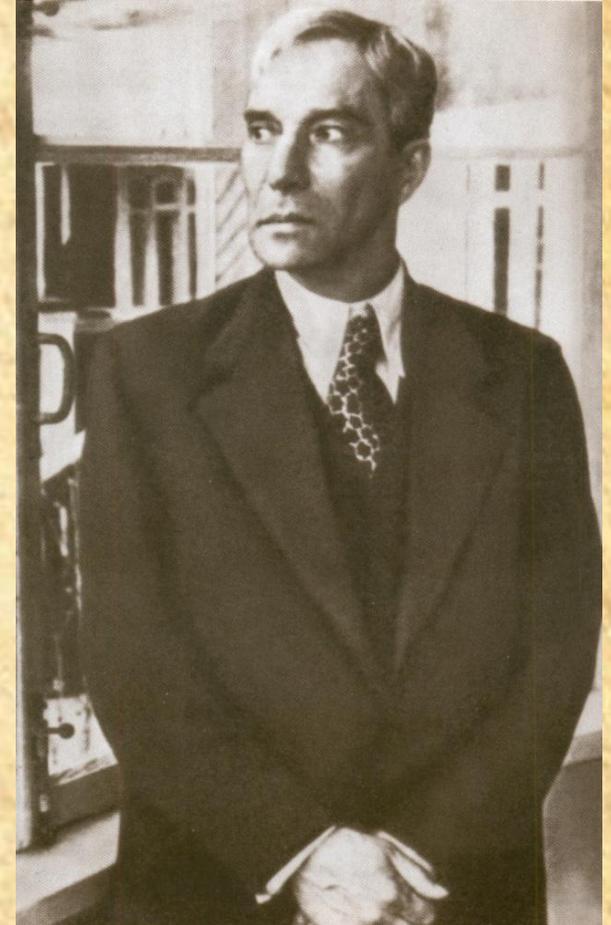
«Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вдыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшись адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давальня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.»



Человечество слишком далеко ушло по пути от природы к цивилизации, возврата назад уже нет. Природа - это целесообразность, торжество естественного отбора, цивилизация - милосердие, которого не знает природа.

Многих в пастернаковском окружении рано или поздно начинала раздражать его способность среди разрухи и голода обращать внимание на пейзажи, жить в гармонии с собой среди всеобщей лжи и распада - словом, быть счастливым в несчастье, «хорошеть в кипятке», как сам он о себе сказал.

«Жизнь ведь тоже только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.»



Участвовать в конструировании собственной биографии — для Пастернака значит вторгаться в Замысел. Восприятие в его поэтической Вселенной в самом деле важнее действия — но это потому, что Творец все сделает лучше.



«Есть что-то вроде веры или это даже вера сама,— которая подсказывает мне, что на жизненно прекрасном и на жизненно осмысленном судьба не может не останавливаться с любовью... Не собственно о судьбе я говорю, но о каком-то ангеле судьбы, в конце концов о Боге... Сама эта сила скорбит о том ударе, который вам наносит, чувствует вашими чувствами, и замышляет выход из этих пут и осуществляет его. Каждый человек, в конце концов, не может любить самого себя так, как он любим самою жизнью». Это из письма к родителям 1914 года.

Двадцать шесть лет спустя — и каких лет! чуть ли не трагичнейших в русской истории!— он уже прямо и просто скажет то, что повторят за ним, без преувеличения, миллионы: повторят с надеждой или недоверием, но в любом случае с полным пониманием, ибо кому же не приходило в голову, что:

Глухая пора листопада,
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.

Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом...

Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: "Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь".

«У Пастернака нет, в сущности, ни одного богоискательского произведения; его герои не приходят к вере — она им дана. Все постулируется на уровне аксиоматическом, не требующем пояснений: «Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог». Это априорное знание о жизни, о том, что мир стоит на прочных и надежных основаниях, что всякая сказка есть «сказка с хорошим концом», — не может быть внушено другом или постигнуто через опыт: оно дается.

Важное умение гребца — вовремя развернуться носом к волне, чтобы не опрокинуло; Пастернак умел так поставить свою лодку, чтобы волна ее несла, а не колебала, и оттого всякая волна возносила его на гребень. Точнее других об этой кажущейся пассивности творческой личности сказал Павел Флоренский: «Я очень присматривался к гениальным людям, по биографии и проч., и нашел, что чем одареннее они, тем слабее их воля над собою... Так что это вовсе не порок ваш, а — совсем другое». Безволие есть лишь невмешательство в высшую волю, чем гениальнее, тем вернее предназначению. Или, если угодно, Богу.»

«Раскат импровизаций...»

В



**МУЗЫКА
В ТВОРЧЕСТВЕ,
СУДЬБЕ И В ДОМЕ
БОРИСА
ПАСТЕРНАКА**

БОРИС ПАСТЕРНАК



Дмитрий
Быков



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Тексты для презентации взяты из книг:

- Дмитрий Быков «Борис Пастернак» - М., «Молодая гвардия», 2007, (Жизнь замечательных людей), 896 стр.
- «Раскат импровизаций...». Музыка в творчестве, судьбе и в доме Бориса Пастернака - М., «Советский композитор», 1991, 328 стр.